

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас, вернувшись домой с таппервэрской вечеринки, где хозяйка, видимо, от души сдобрила фондю киршем, обнаружила, что она, Эдипа, назначена распорядителем, точнее, распорядительницей имущества Пирса Инверарити, калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, как-то в свободное время просадившего два миллиона долларов, но тем не менее оставившего активы настолько солидные и путанные, что приведение их в порядок явно требовало распорядительства не только лишь почетного. Эдипа стояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора и поминала всеу имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспоминала, как хлопнула дверь номера в масатланском отеле,

пробудив две сотни птиц в холле; думала о том, как над склоном у библиотеки Корнеллского университета занимается зоря, которой никто, впрочем, там не видел, поскольку склон выходил на запад; размышляла о сдержанной и печальной мелодии Бартока из четвертой части Концерта для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда, который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. Может, так и умер Пирс, гадала Эдипа, погиб, раздавленный среди грез единственным в доме предметом поклонения? У нее вырвался громкий беспомощный смех. Ты больна, Эдипа, говорила она то ли себе, то ли комнате, которая и так знала.

Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы «Уорп, Уистфулл, Кубичек и Макмингус», было подписано неким Мецгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Мецгеру предписывалось выступить в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, буде таковое возникнет. В дополнительном распоряжении, сделан-

ном год назад, душеприказчицей также назначалась Эдипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период. И весь остаток дня — во время похода на рынок в торговом центре Киннерета-Среди-Сосен, где она покупала рикотту и слушала «мьюзак» (сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте Концерта Вивальди для казу в исполнении ансамбля «Форт-Уэйн Сеттеченто», солировал Бойд Бобрик); собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере «Сайентифик Америкэн», готовя лазанью и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата латука и наконец разогревая еду в духовке и смешивая вечерний виски-сауэр для супруга, Уэнделла Мааса по прозвищу Мучо, к его возвращению с работы, — она вспоминала и вспоминала, перетасовывая задом наперед толстую колоду дней, которые либо казались (уж ей ли не знать?) более или менее одинаковыми, либо ненавязчиво выстраивались уголок к уголку, как карты у фокусника, чтобы тренированный взгляд тут же выцепил любую аномалию. Она мучилась до середины телешоу

Хантли и Бринкли и в конце концов вспомнила, что однажды в прошлом году часа в три ночи раздался междугородный звонок — вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно (если только Пирс не оставил дневника), — и собеседник, поначалу заговорив с сильным славянским акцентом, представился вторым секретарем Трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь; после чего плавно смодулировал в комично утрированный негритянский выговор, затем перешел на грязный диалект пачуко, изобилующий «чингас» и «мариконес», визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у нее родственников в Германии, и наконец сымитировал голос Ламонта Крэнстона, которым Пирс говорил всю дорогу до Масатлана.

— Ради бога, Пирс, — сумела вставить Эдипа, — я думала, между нами...

— Марго, — серьезно прервал он, — я только что побывал у комиссара Уэстона, старика завалили прямо в их дурдоме, причем пугач тот самый, из которого шлепнули профессора Квакенбуша. — И понес что-то в этом роде.

— Ради бога, — повторила Эдипа.

Мучо перевернулся и смотрел на нее.

— Пошли его ко всем чертям и повесь трубку, — весьма разумно предложил он.

— Я слышал, — сказал Пирс. — Думаю, что Уэнделлу Маасу пришла пора повидаться с Тенью. — Повисла основательная и многозначительная пауза.

Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона. Телефонная линия могла быть любой длины и тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти: его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, которых она якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Мецгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этом дополнительном распоряжении? Или он решил сделать его позже — например, из-за ее раздражения и равнодушия Мучо? Эдипа чувствовала себя беззащитной, растерянной и сбитой с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного,

она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, что не знает, с чего начать.

— Мучо, малыш, — позвала она в припадке беспомощности.

Мучо Маас, приехавший домой, впрыгнул в дверной проем.

— Опять сегодня облом... — начал он.

— Послушай-ка... — начала вместе с ним Эдипа. Но дала Мучо выговориться первым.

Он работал диск-жокеем на Полуострове и регулярно мучился совестью насчет своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эд, — обычно начинал он. — Пытаюсь, но никак не могу», — из бездны депрессии, страшившей Эдипу чуть не до истерики. И наверное, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она сорвется, как-то приводил Мучо в себя.

«Ты слишком чувствителен» — так она обычно отвечала. Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда. Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мучо

ежеутренне трижды брил верхнюю губу по росту волос и трижды против, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать; покупал костюмы без плечевых подкладок и отправлялся к портному, чтобы еще более неестественно обузить лацканы; волосы лишь смачивал водой, зачесывая их вверх и отбрасывая назад на манер Джека Леммона. Вид опилок, даже карандашных стружек приводил его в содрогание, поскольку они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач; и даже сидя на диете, он не мог, подобно Эдипе, позволить себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему претило, слишком живо напоминая ту субстанцию, которая часто смешивается с моторным маслом и бесчестно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слово «конфетка», прозвучавшее, как ему казалось, со злым умыслом. Произнес его кондитер, беженец из Венгрии, говоривший действительно о конфетах, но таков уж был Мучо — тонкокожий.

Впрочем, по крайней мере в машины он верил. Может, даже слишком; да и как могло быть иначе, когда все семь дней в неделю он видел людей беднее себя: негров, мексиканцев, голодранцев из южных штатов — натуральная процессия, — сдававших в трейд-ин совершенно немислимые развалюхи; металлические и моторизованные продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представляли чужим (да хоть его) взглядам фактически голыми: покореженные корпуса, проржавевшие днища, кое-как покрашенные крылья — уже только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи Мучо; внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью; и когда из машин выгребали мусор, то с неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были действительно выкинута (людям этим, полагал Мучо, перепало так мало, что почти все нажитое приходилось возить с собой из страха потерять), а какие просто (и возможно, трагически) забыты; отрезанные купоны, обещающие экономию в пять или десять

центов, талоны на скидку, розовые флаеры с предложением распродаж, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, желтые страницы, выданные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или платья настолько старого, что могло сойти за исторический реквизит, — обрывки, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки, — все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа, пыли, телесных выделений, и Мучо было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это честная свалка, он, наверное, сумел бы примириться и сделать карьеру: крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом, — как и любая смерть кажется чудом, пока не подступит к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к на-

силию и крови, были для впечатлительного Мучо слишком правдоподобны, и долго выносить их он не мог. И даже если длительное ощущение неизменной серой тошноты выработало в нем некоторый иммунитет, его по-прежнему трясло, когда владельцы и их тени выстраивались в шеренгу лишь для того, чтобы обменять помятую и сбойную версию себя на самобеглую проекцию чьей-то чужой, но такой же тупиковой жизни. Словно это было самым обычным делом. Для Мучо это был ужас. Непрерывный, запутанный инцест.

Эдипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мучо уже два года работал на КЯУХ, и та площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно (упаси Господи, конечно), попади Мучо на войну — япошки на деревьях, фрицы на «тиграх», узкоглазые с духовыми трубками по ночам, — он об этом забыл бы куда быстрее, чем о салоне подержанных автомобилей, который столь тревожил его вот уже пять лет.

Пять лет. Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь потом, или кричат на языке кошмаров, их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется — Эдипа это знала. Но когда же забудет Мучо? Она подозревала, что работа на станции (полученная им через своего старого друга, менеджера КЯУХ по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю — салон был спонсором), с неизбежным хит-парадом и даже трескучими синдицированными выпусками новостей — пустые грезы незрелых предвкушений, — была только буфером между Мучо и автосалоном.

Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планирует, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбается из центра водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно.

До тех пор, пока Мучо не открывал рот.

— Сегодня меня вызвал Фанч, — сообщил он, наливая, — и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж. — (Фанч был режиссером программы и злейшим врагом Мучо.) — Я теперь, видите ли, слишком сек-

суален. Мне следует изображать молодого отца или, там, старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть, и трепещут от каждого моего слова. Поэтому теперь я должен записывать все телефонные разговоры. Фанч лично редактирует все, что ему покажется непристойным, — то есть все мои реплики. Цензура, сказал я ему, потом добавил, что он предатель, и ушел.

Подобные рутинные перебранки происходили между ними примерно раз в неделю.

Эдипа показала ему письмо Мецгера. Мучо знал о ее отношениях с Пирсом; они кончились за год до того, как Мучо на ней женился. Он прочел письмо и, застенчиво моргая, уставился вдаль.

— Что мне делать? — спросила Эдипа.

— О нет, — ответил Мучо. — Это не ко мне. Только не я. Я даже не могу толком сосчитать наш подоходный налог. А исполнение воли покойного — тут мне вообще нечего сказать. Повидай Розмана.

Их юрист.

— Мучо. Уэнделл. Это закончилось. До того, как он вписал туда мое имя.

— Да-да. Я это и имел в виду, Эд. Я некомпетентен.

Так что на следующее утро она пошла и встретила с Розманом. Предварительно проведя полчаса перед зеркалом, вновь и вновь рисуя тонкую линию на веках, которая искривлялась, прежде чем она успевала убрать кисточку. Большую часть ночи она не спала, поскольку в три часа раздался еще один телефонный звонок, и, когда аппарат, секунду назад безмолвствовавший, вдруг пронзительно заверещал, сердце у нее замерло от ужаса. Они мгновенно проснулись и первые несколько звонков лежали, не размыкая объятий и даже не глядя друг на друга. Наконец Эдипа, понимая, что терять уже нечего, взяла трубку. Звонил доктор Иларий, ее мозгоправ, или психотерапевт. Изъяснялся он, как Пирс, изображающий гестаповского офицера.

— Надеюсь, я вас не разбудил, — сухо начал он. — У вас был очень испуганный голос. Как таблетки? Не помогают?

— Я их не принимаю, — ответила Эдипа.

— Чувствуете в них какую-то угрозу?

— Я не знаю, из чего они сделаны.

— Вы не верите, что это просто успокоительное.

— А я могу вам верить?

Она не верила, и его следующие слова объясняли причину недоверия.

— Нам нужен сто четвертый, чтобы построить мост. — Сухой смешок.

Мост, *die Brücke*, — таким кодовым словом назывался эксперимент, с проведением которого он помогал районной больнице, исследуя влияние ЛСД-25, мескалина, псилоцибина и других подобных наркотиков на большую группу пригородных домохозяек. Внутренний мост.

— Когда же, — спросил Иларий, — мы сможем включить вас в наше расписание?

— Нет, — отвергла предложение Эдипа, — у вас есть полмиллиона других, выбирайте среди них. Сейчас три часа ночи.

— Нам нужны вы.

И вдруг прямо в воздухе над своей кроватью Эдипа увидела хорошо знакомый портрет Дядюшки Сэма, который вывешивали на всех наших почтамтах: глаза горят нездоровым блеском, желтые впалые щеки жутко наруганы, указательный палец уставлен ей точно между глазами. Ты нужна мне. Она никогда не спрашивала доктора Илария, зачем нужна, боясь любого ответа, который он мог дать.

— У меня и так галлюцинации, без ваших наркотиков.

— Не рассказывайте о них, — быстро сказал он. — Ладно. О чем вы еще хотели поговорить?

— Это я-то хотела?

— Я так думал, — сказал он. — Было такое ощущение. Не телепатия. Но связь с пациентом порой бывает своеобразной.

— Только не в этом случае.

И Эдипа повесила трубку. Но заснуть уже не смогла. Будь она проклята, если станет принимать его пилюли. В буквальном смысле проклята. Она ни в коем случае не желала сидеть на крючке — так ему и сказала.

— Но ведь у меня на крючке вы не сидите? — Он пожал плечами. — Тогда можете уходить. Лечение окончено.

Она не ушла. Не потому, что этот шаман имел над ней какую-то власть. Просто проще было остаться. Кто заметит, в какой день она вылечится? Только не он, и он сам это признавал. «Не надо таблеток», — умоляла Эдипа. Иларий лишь корчил ей рожу, такую же, как раньше. Он весь был соткан из очаровательной эксцентрики. У него была теория, что лица симметричны, как кляксы Роршаха, красноречивы, как картинки тема-